Дочь Петра Великого

Автор:
Казимир Валишевский

Дочь Петра Великого

Казимир Феликсович Валишевский

«Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, потому что в ее жилах текла кровь величайшего из Русских и одного из самых замечательных людей, когда-либо существовавших. Если бы она даже не имела никаких других прав на наше внимание, все-таки было бы удивительно, что ни в России, ни в других странах ей до сих пор не было воздвигнуто исторического памятника, где была бы освещена вполне роль, сыгранная ею в истории ее отечества. Но ее судьба и личность интересны и в других отношениях. В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее царствование ознаменовалось, между регентством Бирона или Анны Леопольдовны и правлением Екатерины Ангальт-Цербстской, таким расцветом национального чувства, какое России не скоро еще пришлось пережить…»

Казимир Валишевский

Дочь Петра Великого

Предисловие

Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, потому что в ее жилах текла кровь величайшего из Русских и одного из самых замечательных людей, когда-либо существовавших. Если бы

она даже не имела никаких других прав на наше внимание, все-таки было бы удивительно, что ни в России, ни в других странах ей до сих пор не было воздвигнуто исторического памятника, где была бы освещена вполне роль, сыгранная ею в истории ее отечества.

Но ее судьба и личность интересны и в других отношениях. В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее царствование ознаменовалось, между регентством Бирона или Анны Леопольдовны и правлением Екатерины Ангальт-Цербстской, таким расцветом национального чувства, какое России не скоро еще пришлось пережить.

Елизавета ни своим нравом, от природы беспечным и причудливым, ни небрежным воспитанием, полученным ею, не была подготовлена к занятию престола. Но в качестве дочери Полтавского героя, ей все же удалось вознести славу русского оружия, впервые боровшегося в сердце Западной Европы с грознейшим из противников, на высоту, едва ли превзойденную им с той поры.

Наконец, если она в недобрый час и взяла себе в наследники Петра III, то ее счастливая звезда – или счастливая звезда России – внушила ей мысль выбрать ему в подруги несравненную принцессу, ставшую впоследствии Екатериной Великой.

А какими словами обрисовать картинную и романическую сторону ее судьбы и царствования, не имеющих, может быть, равных себе в современной истории и своим причудливым рисунком и резкими противоположностями сбивавших с толку то недовольную, то очаровательную, то негодующую, то восхищенную Европу! Безумная роскошь и ужасающая нищета; мягкость и жестокость; косность и героизм; грубый разврат и ревностное благочестие; в течение двадцати лет Россия являла миру эти противоположности, сохранив и до наших дней глубокий след нравов, образа мыслей и чувств, выработавшихся в те времена.

Меня упрекали прежде в чрезмерном пристрастии к этим прихотливым картинам прошлого. С тех пор моим критикам не трудно было убедиться в том, что я не искал их преднамеренно, но и не отстранял их, когда они представлялись наблюдению историка и настойчиво внедрялись в его сознание. Впрочем, я убежден, что между моими критиками и мною произошло лишь недоразумение и смешение причины со следствием. Эту распрю можно сравнить с упреком,

брошенным степным жителем кавказскому горцу: «Вы мне показываете одни только горы!» Но история России XVIII века вовсе не походит на альпийский пейзаж; она напоминает скорей земной рельеф в космогонический период. Мы присутствием здесь при нарождении нового мира. Не один роман и драма были написаны на основании материала многих глав, вошедших в состав этой книги. К сожалению, авторы напрасно изукрасили их чертами совершенно ненужного вымысла, хотя и неприкрашенная действительность далеко превосходит здесь все, что могло бы измыслить воображение всех Дюма, взятых вместе.

Продолжительное владычество женского элемента само по себе должно было наложить романический отпечаток на эту эпоху; Елизавета приняла скипетр, уже пятнадцать лет находившийся в женских руках и так и оставшийся в них до конца столетия, хотя не существовало закона, устанавливавшего или охранявшего женодержавие. Страна самовольно создала эту теорию престолонаследия по женской линии и подчинилась власти целой серии государынь. Но она так же самовольно и свергла их. Освободившись от гнета создателя народного величия, дух анархии и страсть к приключениям, свойственные славянскому темпераменту или, скорее, лежащие в основе всякого нарождающегося общества, предъявили свои права к существованию под различными видами. Одним из них было женодержавие, другим – господство фаворитов.

Оба эти обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали возникновению различных легенд и анекдотов, прельстивших, по мнению моих критиков, и меня. Но я нахожу в них удовольствие, когда они занимательны, и не уклоняюсь от обязанности воздать им должное, когда они ложны. Последнее случается девять раз из десяти. Но и в этом случае я считаю возможным вылущить из них зерно истины. Каким образом? Я уже это объяснял в другом месте и от своих слов не отказываюсь. Путем сопоставления и согласования.

– Неужели количество их может служить ручательством за их качество?

Таково было сделанное мне возражение. Оно меня не поколебало. Если вы обратитесь к двум людям, бегущим по улице, с вопросом, куда они спешат, то один из них скажет, что горит театр, другой – что пожарные поскакали в Думу. Вы не будете далеки от истины, предположив, что действительно где-нибудь показался дым.

Женщину, имеющую, согласно преданию, двадцать фаворитов, мне трудно считать безупречной, хотя бы я не собирался делать из этого факта никакого другого вывода. Не достаточно ли и того, что история указывает подобные явления?

По мнению некоторых критиков, я слишком сдержан в своих заключениях. Действительно, я не считаю себя торговцем достоверных сведений, и хотя один из самых блестящих моих собратьев и считает возможным утверждать, что Юлий Цезарь чихнул три раза, переходя в известный час известный ручеек в Галлии, я все же не принадлежу к этой школе.

Но вот перед нами пирожник, превращающийся в регента могущественной империи и обручающий свою дочь с императором; вот императрица, бывшая прачкой или маркитанткой; вот другая императрица, захватывающая власть, проникнув ночью во дворец, где спит едва отнятый от груди ребенок, мнимо-законный государь, и выкрадывающая его с помощью горсти сопровождавших ее гренадер: все это, конечно, сказки и мне пришлось бы краснеть за себя, если бы я их сочинил. Но разве я могу не считаться с ними, когда неопровержимая действительность записала их в прошлом многострадального стомиллионного народа? Они составляют существенную часть его жизни и его исторической эволюции в эпоху, требующую изучения всех этих подробностей и малейших изгибов чудесной судьбы этого народа, – изучения, необходимого для понимания его настоящего облика.

Сознавая долг, налагаемый на меня этим положением вещей, и стараясь выполнить его по мере сил, мне неизбежно пришлось вызвать другого рода споры и довольно резкие, хотя и противоречивые укоры. С одной стороны, меня обвиняли в том, что я поношу Россию, даже клевещу на нее, с другой – считали меня низким льстецом. Эти маленькие злоключения меня также не смутили. Я их ожидал; скажу больше; я надеялся, что они возникнут. Я вижу в них доказательство того, что я приблизился, по крайней мере, – не рассчитывая на достижение его, – к идеалу беспристрастия, являющемуся нашей общей целью, высокой вершиной, куда должны устремляться наши усилия. Доступ к ней усеян шипами и терниями; я не жалуюсь на выпавшие на мою долю уколы. Но мне сдается, что уязвленные моими исследованиями чувства коренятся, главным образом, в ложном понимании как цели, преследуемой мной, так и предмета всякого исторического изыскания.

Один русский критик не побоялся даже утверждать, что если я взял на себя роль толкователя двух различных миров, то мне по необходимости приходилось жертвовать одним из них, и что пожертвованным должен был оказаться тот, где говорят на языке Пушкина.

Почему, скажите, жертва эта обязательна? Истина – богиня, не требующая принесения жертв на ее алтарь. Ей нужны только беспристрастные умы и искренние сердца.

Более полустолетия тому назад Чаадаев рисковал пожизненным заточением за то, что высказал своим соотечественникам несколько жестоких истин, признанных впоследствии многими из них справедливыми. Меня уж никто не собирался заключать в тюрьму. Нетерпимость, обрушившаяся на мой труд, стояла, кажется, в связи лишь с моим происхождением, в подражание своенравной вспышке великого национального поэта, справедливо составляющего гордость России и сказавшего, что, хоть он и презирает свое отечество с головы до ног, но не терпит, чтобы иностранец разделял это чувство. Мне крайне неприятно касаться здесь личного вопроса, но он, к сожалению, занимает слишком большое место, даже вне России, в критике моих книг, чтобы я мог считать его, как бы мне того ни хотелось, не заслуживающим внимания. Иностранец ли я? В качестве Поляка, пишущего на французском языке главы русской истории, я могу считать себя принадлежащим к некоторой исторической общине народов, еще недавно казавшейся парадоксальной, но силою обстоятельств превратившейся в живую действительность. А чтобы жить общею жизнью, необходимо друг друга узнать.

Руководствуясь этим чувством, я принялся за изучение прошлого одного из членов этой общины, изучение, свободное от всяких побочных соображений, и повел его безусловно самостоятельно и в духе неизменной искренности, наложившей, я полагаю, свою печать на мои труды. Если вследствие заблуждений, неизбежных во всяком человеческом деле, оно и отклонилось от начертанного пути, то происхождение мое тут ни при чем. Я искал лишь истины. Но я хотел, не скрою, обрести ее во всей ее полноте и раскрыть ее без ограничений и без покрывал, такою, какою предание и пластические искусства изображают ее, выходящую из колодца.

В рамках, избранных мною, как более всего отвечающих не только моим наклонностям и способностям, но и вкусам и потребностям читающей публики, я, кажется, не упустил ни одного из серьезных элементов научного исследования.

Но я, каюсь, старался использовать их, не нагоняя ту скуку, которая, оказывается, является теперь обязательной, согласно требованиям профессиональной этики. Основательны ли эти требования? Согласны ли они со славными традициями ремесла? Хотелось бы мне сослаться на Светония, а то и на Тацита. Но помимо этих старинных образцов, другие, более современные и, следовательно, более авторитетные, оказались отвергнутые большинством моих собратьев, находящихся под влиянием нового и упорного веяния, побуждающего их подражать суровости точных наук. Если бы, по крайней мере, ими цель была достигнута! Но какое это заблуждение! Какое смешение совершенно различных областей! Возьмите берлинское или лейпцигское издание полного собрания сочинений математика или химика: я убежден, что в нем не будет выпущена ни одна запятая. А чего только не хватает в переписке Фридриха Великого, изданной там же! И для кого же эта наука? Те времена далеки, когда Тьер увлекал читателей «Constitutionnel» своей «Историей Французской революции». Если бы «Constitutionnel» еще существовал, то его подписчики искали бы тех же впечатлений в чтении сенсационного романа. История сделалась постепенно областью, доступной исключительно все более и более суживающемуся кругу избранных. Но не равносильно ли это крушению ее настоящей цели?
Не является ли она magistra vitae? А кем создается умственная, экономическая, даже политическая жизнь в наши дни? Учеными? Конечно, нет. Все в ней принимают участие, вплоть до рассыльного, стоящего на перекрестке улиц. Следовательно, всех и надо просвещать, на всех проливать лучезарный свет, идущий из глубины нашего прошлого. А вы хотите запереть его в академию!

Один русский историк – перед знанием и талантом его я во всяком случае преклоняюсь и до сих пор оплакиваю его смерть – В. А. Бильбасов назвал мои книги романами. Я готов принять это за похвалу. Да, излагая перед читателями содержание хотя бы и дипломатических документов, я считаю возможным сделать чтение их не менее привлекательным, чем фельетон. Это достижимо при условии устранения из них всего того, что не представляет действительного интереса, т. е. девяти десятых большинства текстов, и введения в них того, что составляет прелесть всего человеческого: жизни. Если это мне не удалось, то лишь за недостатком таланта, – за отсутствием также некоторых умственных навыков, утерянных ныне большой публикой. Тут приходится воспитывать или перевоспитывать ее. Некоторые писатели во Франции уже приступили к этому делу, вкладывая в него искусство, недосягаемое для меня; но в их начинании я черпаю оправдание, поощрение и надежду.

Ведь произведения Генриха Гуссе, Фредерика Массона, несмотря на обилие в них документальных данных, и Лависса и Лампрехта, невзирая на точность их

изысканий, не уступают по живости и прелести языка излюбленным авторам читающей публики.

Но и на этом пути встают препятствия и попадаются камни преткновения. Одним из них было бы смешение видов научных работ, указанное одним выдающимся критиком. Я высказывал, действительно, мнение, что труд историка стоит в более тесной связи с искусством, чем с наукой, не утверждая, конечно, что он не научен. Но ограничить не значит исключить. Я все же полагаю, что в силу своих естественных пределов и специального назначения, исторический труд ничем не походит ни на труд математика, ни на труд химика; за отсутствием непосредственного наблюдения, картины, воскрешаемые историей в зеркале с потертой амальгамой, со стеклом, отбитым в многих местах, не могут хвалиться безусловной точностью; к тому же польза истории мне понятна лишь в том случае, когда она, наполняя зрение масс отражением прошлого, тем самым обостряет в них видение настоящего и предвидение будущего; таким образом, исторический труд не только самонадеян, но и лжив, если считает себя непогрешимым, и бесполезен, и не оправдывает своего существования, если он не популярен. Для того, чтобы построить мост, установить электрическую батарею, привести в движение паровоз, достаточно одного ученого и известного количества рабочих; для того, чтобы создать один час человеческой жизни, нужен целый народ.

С Елизаветой прямое потомство Петра Великого привилось через сестру императрицы к иноземному стволу. Я не преувеличиваю значения этого события. И на троне, и в других областях жизни большинство великих исторических имен продолжают существовать лишь путем передачи по боковой линии. Женская наследственность считалась в некоторых странах более целесообразной в силу того, что ее можно более точно установить.

Как историк, я не могу, однако, отрицать значения традиций, олицетворенных дочерью Петра Великого, и упадка, постигшего их после ее смерти. Петр III родился в Киле и до 13 лет воспитывался в лютеранской вере и в поклонении перед своей немецкой родиной: мы знаем, чем он стал, и по какому пути он направил политику России.

Будучи немкой по отцу и матери, Екатерина, в противоположность своему мужу, приложила все старания к тому, чтобы вместе с языком и нравами усвоить и дух своего нового отечества. Удалось ли ей это? В значительной мере удалось. Она сумела сделаться настоящей русской Матушкой-Царицей, и это

и составляет, может быть, самый прекрасный луч ее славы. «Ни в одной истории не встречается ни лучших, ни более великих людей, чем в нашей», писала она про русских немцу Гримму. Но вместе с тем, ей случалось писать ему же: Das ist unm?glish, dass ich mir sollte auf der Nase spielen lassen… Ни один немец этого не потерпит».

В этих словах она выдала тайну своего внутреннего «я» с роковой двойственностью, вытекавшей из ее происхождения, обнаружив умственное и нравственное сродство, тысячью невидимых нитей связывавшее ее с ее домашним очагом, с первоначальным воспитанием, с ее расой; распространяясь от ее ума и сердца на ее управление, проникая в самую душу народа, который великая государыня лепила по своему образу и подобию, оно наложило на это управление и на эту душу печать, неизгладимую и по сию пору.

Если мы от внешней политики этого ослепительного царствования перейдем к внутренней, то увидим, что она отчеканена по тому же образцу. Сравните национальную литературу, современную Елизавете, с литературными памятниками, оставленными нам последовавшим за нею так называемым «золотым веком»; поставьте рядом Ломоносова и Державина, и разница станет ясна. В этом-то и состоит значение и особая прелесть предшествовавшего Екатерине царствования, вызванного мною к жизни на предлагаемых страницах. Менее пышное, оно кажется более самобытным и потому более симпатичным.

Образ Елизаветы, гораздо менее яркий, тоже не лишен очарования. В рамке, окружающей ее, она даже с известной точки зрения интереснее своей преемницы, потому что она здесь совершенно на месте. Она представляет собой чисто русский и чрезвычайно любопытный тип.

Еще любопытнее рамка сама по себе. Являя сначала взору пятнадцать лет внутреннего и внешнего мира, между революционными грозами прошлого и грядущими бурями, этот фазис национальной жизни дает нам возможность изучить ее черты в состоянии сравнительного покоя и впервые при пленительной обстановке, – праздничной, безмятежной, чарующей, неизвестной стране Ивана Грозного и долгое время к ней не возвращавшейся. Одновременно возникают зачатки умственной жизни, художественной культуры, общественности. Затем настает внезапное оживление дипломатических сношений, вовлекшее страну в близкое общение с европейскими дворами.

Наконец, разражается Семилетняя война – великолепная военная эпопея, обнаружившая не только перед турками и шведами, но перед всей Европой военные доблести русского народа. Гросс-Эгерсдорф и Кунерсдорф, Фридрих, доведенный до отчаяния, нарождающийся имперский орел Гогенцоллернов, едва не раздавленный «расходившимся медведем», – торжество, какого России впоследствии не пришлось уже пережить!

Стоило оно, конечно, дорого, и я укажу прямо, ценою каких несчастий, каких бед покупались эти внешние победы. Но и эта сторона картины не менее достойна нашего внимания.

Внутренняя история этого царствования еще не написана даже в России. Один английский историк утверждает, что ее вовсе не существует. Постараюсь доказать противное, не надеясь, однако, совершенно заполнить этот пробел. В связи с историей всех европейских стран историческое описание внешней стороны царствования Елизаветы предпринималось не раз. Мне придется внести в него некоторые поправки. В архивах министерства иностранных дел во Франции мне удалось разыскать несколько документов, ускользнувших от внимания моих предшественников и проливающих новый свет на некоторые эпизоды, между прочим на первые попытки сближения между Россией и Францией и на роль, сыгранную при этом секретной дипломатией. В тайных архивах в Берлине мне еще более посчастливилось. Политическая переписка Фридриха, изученная мною отчасти в оригиналах, дала мне возможность установить, не без некоторого изумления, что ученые издатели ее поторопились, заявив, что ими не оставлено без внимания ни одного значительного текста. Представляю судить об этом моим читателям.

Явление это не заключает в себе, однако, ничего особенного. Переписка Наполеона I выдержала в Париже три издания; первое из них было объявлено полным; между тем, два остальных были предназначены для пополнения его. Французское военное министерство готовит в настоящее время четвертое издание. Взятые из того же хранилища, что и прежде опубликованные документы, и вместе с ними побывавшие в руках предыдущих издателей, документы, предназначенные для нового издания, достигают цифры шести тысяч из тридцати тысяч их, составляющих литературное наследие Наполеона.

Хотя Венский архив и был тщательно изучен во всем, что касается Елизаветинской эпохи, г. д'Арнетом и другими историками, мне все же удалось почерпнуть в нем неизданные еще сведения.

В заключение позволю себе выразить еще раз мою глубокую благодарность всем тем лицам, которые как в частных, так и в общественных хранилищах, изученных мною, облегчили мою задачу, руководили моими изысканиями и открыли мне доступ к сокровищам, вверенным их попечениям, помогая мне своими просвещенными советами.

Г.г. Козер, директор Государственного архива в Берлине, доктор Густав Винтер и г. Арпад де Кароли, директор и вице-директор Императорского архива в Вене, и г. Фарж, начальник отдела исторических изысканий в архиве министерства иностранных дел в Париже, да соблаговолят принять от меня особую дань почтительной признательности!

К. Валишевский

Часть первая

«Внутренняя история государства»

Глава первая

Ноябрьский переворот 1741 г.

I. Первые годы

Она родилась 19 декабря 1709 года; год этот достаточно красноречиво говорит уму и сердцу каждого русского человека.

В это время отец Елизаветы не был еще повенчан с ее матерью, в чем впоследствии жестоко упрекали обеих дочерей, Анну и Елизавету, родившихся от этого союза, столь странно возникшего и испытавшего такие необычайные переживания. Но в это же время Петр вернулся в Москву после Полтавы в сопровождении целого поезда шведских пленников, и эта слава окружила даже его новое потомство таким сиянием, что, невзирая на страшные потрясения и мучительные испытания, судьба великой империи оказалась неразрывно связанной с участью смиренной ливонской пленницы и ее дочерей.

Как известно, после неожиданного возвышения Екатерины I и преждевременной смерти Петра II, наследие полтавского героя сделалось предметом спора между тремя ветвями царствующей династии. Елизавете сперва как будто вовсе и не суждено было принять участие в этом соперничестве. Вступив на престол, ее мать возымела относительно нее весьма честолюбивые замыслы, направленные совершенно в другую сторону. Это отразилось на детстве и на воспитании Елизаветы. Старшая дочь императрицы, Анна, заключила более или менее подходящий брак в Германии, и Екатерина «по важным соображениям» желала, чтобы младшая дочь ее умела говорить по-французски и хорошо танцевала менуэт. «Соображения» эти известны. Менуэт должен был произвести впечатление в Версале: императрица думала, что большего и нельзя было требовать от благовоспитанной принцессы.

Поэтому, за исключением учителей французского языка и учителей танцев, воспитание цесаревны было предоставлено ее собственному усмотрению. Неудивительно, что оно не было особенно мудро направлено. Елизавета не любила ни читать, ни учиться. Она заполняла время верховой ездой, охотой, греблей и уходом за своей несомненной, хотя и не очень тонкой красотой.

Черты ее лица были неправильны, нос короткий, толстый и приплюснутый, но великолепные глаза украшали и освещали ее лицо. Впоследствии, имея или воображая, что она имеет власть над зрением художников, она не допускала правдивого изображения своего носа на портретах, и знаменитому граверу Шмидту пришлось переделать его на портрете Токе.

По той же причине она никогда не позволяла изображать себя в профиль. Но она была хорошо сложена; у нее были красивые ноги, белоснежное свежее тело и ослепительный от природы цвет лица. Несмотря на пристрастие к французским модам, она никогда не пудрила волос; они были того красивого рыжего цвета, что так ценится любителями венецианской красоты. И от всего ее

существа веяло любовью и сладострастьем.

В первой молодости, в костюме итальянской рыбачки, в бархатном лифе, красной коротенькой юбке, с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами в те времена девушки носили их до 18 лет, – а впоследствии в мужском костюме, особенно любимом ею, потому что он обрисовывал ее красивые, хотя и пышные формы, она была неотразима. Она сильно возбуждала мужчин, чаруя их вместе с тем своею живостью, веселостью, резвостью. «Всегда легкая на подъем», как говорил про нее саксонский агент Лефорт, она была легкомысленна, шаловлива, насмешлива. «Она как будто создана для Франции, – писал он, – и любит лишь блеск остроумия».

В январе 1722 г., объявляя ее, согласно обычаю, совершеннолетней в присутствии многолюдного собрания, Петр ножницами обрезал ей крылья. Ангел превратился в женщину.

Однако Екатерина I не оставляла своей мысли, и в 1725 г. она более или менее осторожно предложила Елизавету в жены Людовику XV. В то время уже подготовлялся франко-русский союз; но после Петра I, задумавшего его, Екатерина хотела положить в основание его это совершенно неприемлемое условие. Ясно было, что даже такой ценою не оправдывалось принесение в жертву естественных интересов России везде, где они в то время соприкасались с интересами Франции – в Турции, Дании, Швеции, Польше. В этом направлении один вопрос об обладании Шлезвигом открывал уже целую пропасть. Франция гарантировала Дании владение им, между тем как на него предъявлял права Голштинский дом, состоявший уже в родстве с российским царствующим домом.

К тому же было чистым безумием предполагать, что в Версале согласятся серьезно обсуждать вопрос о браке французского короля с одной из принцесс, рожденных до брака.

И, действительно, вопрос этот вовсе и не подвергался обсуждению. Подлинные документы, относящиеся к начатым по этому поводу переговорам, не оставляют на этот счет ни тени сомнения. 11 апреля 1725 г., принимая в аудиенции французского посланника, Кампредона, и разговаривая с ним по-шведски, чтобы не быть понятой окружающими, Екатерина объявила, что «дружба и союз с Францией были бы ей приятнее дружественных отношений всех остальных европейских держав». В тот же день императрица, не желая входить лично

в дальнейшие объяснения, послала к Кампредону Меншикова, открыто предложившего на рассмотрение вопрос о браке Елизаветы с Людовиком XV. Он выказал себя весьма сговорчивым относительно условий брака и от себя сделал предложение, впоследствии считавшееся всегда совершенно недопустимым в России: о переходе Елизаветы в католическую веру.

Кампредон объявил себя весьма польщенным сделанным предложением, но попросил дать срок для сообщения его в Версаль и получения оттуда ответа. И не успел еще курьер вернуться из Франции, как в Петербурге разнесся слух о предстоящем браке Людовика XV с английской принцессой.

Екатерина все же не сдалась. На этот раз она выбрала посредником своего зятя, герцога Голштинского, и сообщила через него Кампредону, что, движимая желанием выдать Елизавету замуж во Франции, она удовольствуется и герцогом Орлеанским.

Во Францию вновь поскакал курьер. Но ответ из Версаля, отправленный 21 мая, окончательно разбил упорные надежды императрицы. Выражения безграничной благодарности сопровождали самый решительный отказ, едва смягченный несколькими вежливыми формулами: в Версале «опасались, что императрице оказалось бы слишком неудобным перед своими подчиненными согласиться на переход цесаревны в другую веру». Затем выражалось крайнее сожаление, что «герцог Орлеанский принял уже другие обязательства»…

Это положило конец мечтам и отсрочило на долгие годы союз с Францией. Несколько месяцев спустя, Россия стала во враждебные отношения с Данией, и франко-русская война казалась неизбежной.

При посредстве саксонского посланника Лефорта Елизавета чуть было не вышла замуж за побочного сына Августа II, несчастного кандидата на курляндский престол, красивого, мужественного, но слишком уж предприимчивого Морица. Какое падение! Лефорт послал этому странствующему рыцарю портрет цесаревны, снабдив его заманчивыми комментариями: «хорошо сложена, прекрасного роста; прелестное круглое лицо, глаза, полные воробьиного сока (sic), свежий цвет лица и красивая грудь».

Мориц был обольщен скорей курляндским престолом, чем возможностью разделить его со столь прекрасной подругой. По словам Лефорта, она ждала его

«с величайшим нетерпением» (avec d?mangeaison).

Но в то время место в Митаве было занято Анной Иоанновной, племянницей Екатерины I и вдовой Фридриха-Вильгельма, герцога Курляндского, менее привлекательной, чем Елизавета, но в данную минуту обладавшей лучшим приданым. Мориц не колебался в выборе между богатством одной из предполагаемых невест и прелестями другой. Герцогиня Курляндская также не замедлила благосклонно принять предложение жениха, тем более, что Лефорт предупредительно описал все ее качества «вплоть до самых сокровенных».

Однако Елизавета одно время как будто одержала верх над своей соперницей. Мориц убедился, что, благодаря деятельности своего агента, французского полковника де-Фонтенэ, он имел более шансов получить герцогскую корону вместе с рукой красивой цесаревны. Но когда Курляндия, а за нею вся Польша восстали против этой сделки, то и Саксония отступила от своего плана, и в конце концов Мориц остался без герцогства, а Елизавета без мужа.

Вскоре после этого ей пришлось, за неимением лучшего, изъявить согласие на брак с епископом Любской епархии, Карлом-Августом Голштинским, младшим братом правящего герцога. Партия эта была более чем скромная, но злой рок или, скорей, счастливая звезда цесаревны не допустили этого брака. Жених умер, не дойдя до алтаря. Не предвидя лучшей партии в будущем, Елизавета глубоко опечалилась его смертью.

В утешение ей великий государственный деятель следующего царствования, Остерман, облюбовал другой план. Соперничество разрозненных ветвей потомства Петра Великого становилось тягостным. За отсутствием какого бы то ни было династического закона, престолонаследие, после Екатерины, находившейся на одре смерти, вовсе не было обеспечено за сыном Алексея Петровича. На официальных торжествах и общественных богослужениях имена цесаревен Анны и Елизаветы провозглашались раньше имени маленького Петра Алексеевича, отпрыска наследника, отвергнутого своим отцом. Но это дело могло уладиться путем брака. Если бы Елизавета стала женой своего племянника, то престолонаследие не было бы оспариваемо по крайней мере с этой стороны.

На этот раз осуществлению этого плана воспрепятствовала церковь и, опираясь на ее голос, тогдашний властный хозяин страны, – а перед ним Остерман,

в ожидании будущих благ, был еще весьма мелкой сошкой, – Меншиков не желал брака Елизаветы с Петром, потому что готовил для будущего императора другую невесту в лице своей собственной дочери.

Всем известна развязка этой интриги – опала и ссылка всемогущего временщика и несчастной Марии Меншиковой вслед за воцарением Петра Алексеевича.

Елизавета не сумела воспользоваться этим поворотом счастья, хотя сделать это было вполне в ее власти. Под влиянием Остермана Петр II влюбился в свою красивую тетку, и от нее зависело направить это весьма горячее чувство к цели, указанной честолюбию будущей императрицы тонким немецким политиком. Но в 17 лет это честолюбие еще недостаточно окрепло и не приняло определенной формы. Петр II сам еще был ребенком – ему шел тринадцатый год, – следовательно, любовь, – как ни склонна была Елизавета подчиняться ее велениям, – также не могла руководить ею в данном вопросе.

Таким образом она упустила случай и потеряла время.

Она не обольщала своего племянника, но принялась усердно будить в нем жизненные инстинкты. Она оторвала его от серьезных занятий и учебников, с единственной целью делить с ним самые невинные из тех удовольствий, которым она склонна была предаваться по свойству своего темперамента, хотя они и не всегда соответствовали достоинству государя. Она развила в нем охоту, даже страсть к физическим упражнениям. Будучи бесстрашной наездницей и неутомимым охотником, она увлекала его с собой на долгие прогулки верхом и на охоту. Во время этих поездок молодой император любовался прекрасными глазами, полными, по выражению Лефорта, «воробьиного сока», вздыхал у ног своей спутницы и слагал в ее честь плохие стихи; но, по возвращении домой, он вместе с Иваном Долгоруким ускользал по ночам из дворца в поисках более доступных наслаждений; его роман возбуждал в нем желание их отведать, не давая ему вместе с тем никакого удовлетворения.

Но и этот роман, едва начатый, встречает вскоре препятствие, остановившее его дальнейшее развитие. Опять-таки против него вооружается Меншиков. Он дерзает даже отнимать у цесаревны, уже тогда очень расточительной, кошельки с золотом, которые ей дарит щедрый Петр II.

Тут уже Елизавета, глубоко уязвленная, сопротивляется и берет верх над врагом. Несчастную Марию Александровну заставляют вернуть кольцо, служившее залогом лучезарной будущности. Молодой государь теперь свободен располагать собой, и Елизавета на этот раз как будто готова использовать это обстоятельство.

Ей удается ввести в круг приближенных Петра нового фаворита, Александра Борисовича Бутурлина, «министра священных тайн развлечений императора», как называет его Лефорт, а впоследствии фаворита цесаревны. Она сближается с Остерманом, все еще не отказавшимся от своего плана. Следуя советам своего руководителя или собственным наклонностям, она возбуждает ревность Петра, кокетничая с Иваном Долгоруким.

Но она заходит слишком далеко. Неокрепшее чувство, которое она старается насильственно развить этим путем, блекнет под давлением таких осложнений, и среди беспрерывных охотничьих развлечений в Горенках, куда Долгорукие постоянно приглашают государя, любовь устраивает западню слишком предприимчивой цесаревне.

Пока она увлечена зародившейся страстью к Бутурлину, Петр II противопоставляет ей соперницу, молодую девушку, раскрывшую перед ним всю прелесть целомудренной и чистой привязанности.

Он обручается с Екатериной Алексеевной Долгорукой, «она великолепного роста, цвет лица у нее ослепительной белизны, глаза огненные»

Идиллия эта имела трагическую развязку, и у смертного одра Петра II наследственные права дочерей Петра не подвергались даже обсуждению. Другое потомство взяло верх; в царствование Анны Иоанновны и во время регентства Бирона судьба Елизаветы претерпела долгое и полное затмение.

При жизни Петра II ее звали «Венерой», в противоположность сестре царя, серьезной и долгое время безупречной Наталье Алексеевне, носившей прозвище «Минервы». Елизавета и осталась «Венерой», «допуская без стеснения», писал испанский посол, герцог Лирия, «вещи, заставлявшие краснеть наименее скромных людей». Она собирала у себя в Александровской Слободе самое легкомысленное общество; когда Анна Иоанновна заставила ее последовать за собой в Петербург, она продолжала тот же образ жизни и здесь в доме,

стоявшем на окраине города и приобретшем весьма дурную славу.

Она жила в нем серо, почти бедно, билась в постоянных денежных затруднениях и находилась под неослабным надзором. В 1735 г. одну из ее горничных заключили в тюрьму, обвинив ее в непочтительных отзывах о Бироне. Ее подвергли допросу, высекли и сослали в монастырь. Возник было вопрос о заточении в обитель самой цесаревны. Она носила простенькие платья из белой тафты, подбитые черным гризетом, «дабы не входить в долги, – рассказывала она впоследствии Екатерине II, – и тем не погубить своей души; если бы она умерла в то время, оставив после себя долги, то никто их не заплатил бы и ее душа пошла бы в ад; а этого она не хотела». Но белая тафта и черный гризет должны были вместе с тем производить впечатление вечного траура и служили своего рода знамением. Ее семья – несчастная семья литовских крестьян, трое детей, две тетки, получившие аристократические имена и титулы, но бедные и испытавшие самое презрительное обхождение со стороны Анны Иоанновны, – доставляли ей также немало хлопот и вводили в большие расходы. Она воспитывала за свой счет двух дочерей Карла Скавронского, старшего брата Екатерины I, и старалась выдать их замуж.

Знать пренебрегала ею как за ее рождение, так и за характер ее любовных увлечений. Таким образом, ей пришлось, чтобы составить себе общество, спускаться все ниже и ниже.

В Александровской Слободе она обходилась с крестьянскими девушками почти как с равными, катаясь с ними на санях или угощая их изюмом, орехами и пряниками и принимая участие в их играх и плясках. В Петербурге она наполнила свой дом гвардейскими солдатами. Она раздавала им маленькие подарки, крестила их детей и очаровывала их своими улыбками и взглядами. «В тебе течет кровь Петра Великого», – говорили они. Она показывалась публично весьма редко, лишь в торжественных случаях, и держалась серьезно и грустно, принимая протестующий вид, доказывающий, что она ни от чего не отреклась. То же самое угадывалось в некоторых поступках, совершенных ею по внушению приближенных лиц; у нее самой никогда не было инициативы. Она навестила несчастного тверского епископа Лопатинского, выпущенного Анной Леопольдовной из тюрьмы, куда его заточила Анна Иоанновна.

– Узнаешь ли ты меня? – спросила она его.

Надломленный многолетним заключением, старик долго искал в своих воспоминаниях; наконец он встрепенулся и радостно воскликнул:

– Ты искра Петра Великого!

Она оставила ему триста рублей, и об этом случае заговорили в церквах и монастырях.

Тем не менее она оказалась одинокой и почти забытой. Она оставалась красивой, но становилась слишком полной, и, подобно шекспировскому Цезарю, питавшему недоверие к худощавым людям с ввалившимися глазами, английский посланник Финч говорил, что она была «слишком толста, чтобы быть заговорщицей».

Ее считали обвенчанной с Алексеем Разумовским, малороссийским крестьянином, обратившим на себя ее внимание в церкви Анны Иоанновны, где он был певчим. Он, по-видимому, не принадлежал к числу мужчин, способных пробудить ее от нравственной спячки, охватившей ее вследствие злоупотребления различными удовольствиями, и заставить ее стряхнуть безропотную и ленивую неподвижность, по свидетельству французского посла Шетарди, делавшую ее «робкой в самых обыкновенных поступках».

Разумовский был просто красивым мужчиной, иногда буйного характера, после хорошей пирушки. В числе приближенных цесаревны находились оба Шуваловы, Александр и Иван, – тоже люди ничтожные, – и Михаил Воронцов, женатый на Скавронской, человек крайне сдержанный и осторожный.

Бирон, уже на высоте своего могущества, обнаружил было намерение озарить своим сиянием померкшее светило, что произвело переполох среди друзей и врагов цесаревны. Позднее, в правление Анны Леопольдовны, ее заподозрили в сношениях с опальным Минихом, и клевреты Антона-Ульриха Брауншвейгского получили приказание арестовать его, если он отправится к Елизавете. Впрочем, в былое время Миних советовал Бирону заточить цесаревну, и она этого не забыла; все знали и поняли, что с этой стороны нечего было бояться и не на что надеяться. Тем временем событие, опрокинувшее эти предположения, подготовлялось – только не в кабинете маркиза Шетарди.

II. Движение в казармах в пользу цесаревны

Это событие является одним из самых известных и тщательно изученных в истории. Малейшие подробности его были установлены по таким достоверным источникам и так талантливо изображены, что мое намерение повторить описание его на последующих страницах может показаться самонадеянным и бесполезным, тем более, что я не могу представить новых данных, во всяком случае ни одного документа, опровергающего те, что послужили первоначальными источниками. Берлинский архив, исследованный впервые по этому вопросу мною, оказался в полном согласии с парижским, где другие историки черпали сведения до меня. Но извинением мне может служить то обстоятельство, что, как хорошо ни были осведомлены мои предшественники, они не использовали своих знаний во всей их полноте. По крайней мере мне сдается, что в двух вопросах, касающихся, с одной стороны, участия Франции и ее представителя в Петербурге, маркиза Шетарди, в перевороте, положившем в ноябре 1741 г. конец царствованию Иоанна VI и возведшем на престол дочь Петра Великого, с другой – роли, сыгранной национальным элементом в этом событии, они впали в глубокое заблуждение.

Откуда рождаются все легенды? Как незаконные дочери, они большею частью происходят от неизвестных отцов и матерей. В данном случае, однако, неразрешимый обыкновенно вопрос о происхождении позволяет зародиться некоторым догадкам. Лицу, в чью пользу этот переворот совершился, было несомненно выгодно создать обманчивую картину, которая в блеске еще не померкшего престижа Франции и под покровом патриотического чувства преображала, придавая ему подобие величия, самый заурядный заговор. Некоторые из современников поверили этой сказке; другие помогли ее распространить, и легенда родилась. Она пробила себе дорогу, приобрела вполне законные права гражданства, и с моей стороны, конечно, странно подвергать ее нескромному рассмотрению. Легенда эта так привлекательна: молодая, красивая цесаревна, вознесенная на вершину власти народным течением при содействии тридцатилетнего посла и восьмидесятилетнего старца. Какая богатая тема!

Легенды очень живучи. Эту легенду я, вероятно, не убью. Тем легче простят мне мои читатели мое усилие противопоставлять ей некоторую долю действительности.

Среди приближенных к цесаревне лиц не было человека, способного дать ей, вместе с сознанием роли, которую она могла играть, возможность отстоять свои нрава; но в более далеких от нее кругах было несколько тысяч лиц, нетерпеливо и с раздражением относившихся к ее бездействию. Это являлось следствием ужасного и невыносимого режима, водворившегося в России после смерти Петра Великого, в силу отсутствия закона о престолонаследии, периодических переворотов, заменивших его, и произвола русской олигархии, чередовавшегося с грубостью немецкой диктатуры. После лифляндки Екатерины воцарилась по браку немка Анна Иоанновна; после Меншикова власть перешла в руки Бирона; одновременно началось настоящее нашествие других иностранцев, вроде Брауншвейг-Воль-фенбюттель-Бревернов, Мекленбург-Шверинов, целой армии экзотических принцев и принцесс, солдат, авантюристов, двинувшихся на Россию со всех концов Европы и деливших между собой, как добычу, должности, почести, доходные места, высасывая все соки из страны для удовлетворения своих аппетитов. А единственная надежда в будущем воплощалась в лице императора, имевшего несколько месяцев от роду, несчастного Иоанна Антоновича; над колыбелью его склонялась мать-регентша, но русского в ней было лишь полунемецкое имя – Анна Леопольдовна – полученное ею, когда она отказалась от лютеранской веры и приняла православие.

Чаша была переполнена. Не имея права голоса, народ переносил все терпеливо и бессознательно, как и многие последующие испытания. Но Россия уже обладала в иных кругах сознательной и деятельной душой. На следующий же день после смерти Анны Иоанновны прусский посланник, Мардефельд, писал:

«Все чрезвычайно восстановлены против узурпатора (Бирона), и гвардейские солдаты открыто говорят, что они будут терпеть его правление только до погребения их дорогой матушки (Анны I); некоторые говорят, что лучше всего было бы передать власть цесаревне Елизавете, прямому отпрыску Петра Великого, ввиду того, что большинство солдат принимает ее сторону».

Позднее Бирон последовал за Меншиковым в Сибирь. Но между Линаром и Минихом, Остерманом и Антоном-Ульрихом, ввергавшими страну во все возраставшую анархию, увлекавшими ее в опасные внешние предприятия, регентство Анны Леопольдовны почти заставляло жалеть о ссыльном регенте и ужасной бироновщине.

Следовательно, уже несколько месяцев военные круги и в особенности гвардейские казармы находились в состоянии брожения. Уже много лет зачинщики государственных переворотов обращались к этому элементу, находя в его среде ждущих применения своей удали бесстрашных охотников, пробуждая в них вместе с тем честолюбие и аппетиты, все более нетерпеливо и властно требовавшие удовлетворения.

Гвардейцы, использованные поочередно то тем, то другим из временных победителей, возносившие их на вершину власти и восторженно приветствовавшие их сегодня с тем, чтобы завтра бросить в кибитку и с бранью отправить в Пелым, все более и более осознающие свою силу, недовольные и отважные, шли на эти дела, потому что они им нравились сами по себе, поднимая их значение и давая им возможность требовать вознаграждения; но они каждый раз чувствовали, что им было бы несравненно приятнее, если бы от их помощи выигрывали не Бирон, не Миних, не Антон-Ульрих. Нельзя сказать, чтобы национальное чувство было у них очень развито. Многие из рядовых солдат были даже иностранцы. Но те, другие чужеземцы, ожесточенно враждовавшие друг с другом, командовавшие ими и управлявшие к тому же Россией, не были в их глазах ни симпатичными, ни авторитетными. Бирон попался в ловушку, как глупец, Миниха прогнали, как лакея, и, между Юлией Менгден и Линаром, сам Антон-Ульрих, отец императора и генералиссимус, покрыл себя позором и сделался общим посмешищем. Анна Леопольдовна была, пожалуй, добра; они бы охотно простили ей ее личный образ жизни; но ее никогда не было видно. Она запиралась со своей фавориткой и со своим фаворитом. А если в то время повелителей меняли как рубашку, они готовы были отдать предпочтение Елизавете, не столько оттого, что она была «искрой Петра Великого», сколько потому, что она была доступна всем, любезна, мила; с нею угрюмая жизнь, устраиваемая России теми иностранцами, стала бы улыбающейся и приветливой, как глаза цесаревны – не говоря уже о том, как много эти глаза обещали смельчакам. Воспоминание о Шубине разжигало воображение, и вокруг красавца-гренадера сложилась в казармах легенда, сильно способствующая торжеству дочери Петра.

Мало-помалу разгорался очаг страстных вожделений и горячих пожеланий, сообщившихся и армейским полкам. Слышались крики: «Разве никто не хочет предводительствовать нами на пользу матушки Елизаветы Петровны!»

Одна из подруг цесаревны, Салтыкова, рожденная княжна Голицына, служила по-своему делу Елизаветы в той же среде. Ее дом был рядом с казармами

Преображенского полка, и она, по свидетельству Мардефельда, так часто их посещала, что ей случалось уносить с собой жгучие воспоминания.

Таким образом зародился заговор, если этим именем можно назвать совпадение желаний, одинаково необдуманных как с той, так и с другой стороны и стремившихся соединиться для общей цели, не вступив в точное соглашение и не установив ни ясного плана, ни определенного образа действия. Два темных агента, принадлежащих один к челяди цесаревны, а другой к армии, принялись в последнюю минуту распределять роли; но по ним можно судить о национальном и политическом характере, придаваемом и теперь еще некоторыми историками делу, исполненному ими: и тот и другой были опять-таки иностранцами.

Сама Елизавета, по-видимому, также не была всецело проникнута приписываемыми ей чувствами. В сентябре 1727 г., ведя переговоры о ее браке с маркграфом Карлом Брандербургским, Мардефельд писал: «Она совершенная Немка по духу и только и жаждет отсюда уехать». Оба эти посредника не имели, следовательно, ни малейшей связи с французским посольством. Елизавета говорила с Шетарди на языке Расина, вследствие чего ее сношения с ним принимали поневоле в глазах окружающих оттенок интимности. Анну Леопольдовну поддерживала Австрия; не ясно ли было, что Елизавета, соперничавшая с ней, должна была опираться на Францию? С тонкостью и тактом, влагаемыми наименее одаренными женщинами в такого рода интриги, цесаревна поддерживала и укрепляла это впечатление, прикрываясь им, как декорацией и щитом. Установленный за нею надзор и ее робость, преувеличивавшая опасности его, помешали ей, как мы увидим ниже, развить эти отношения; с другой стороны, вполне законные сомнения и недоверие самого Шетарди не позволяли ей извлечь из них наибольшую выгоду. Гораздо более значительную и энергичную роль в подготовлении государственного переворота сыграли Шварц и Лесток. А во время осуществления его на первый план выдвинулось третье лицо – еврей, родом из Дрездена, бывший торговец ювелирными предметами, превратившийся в гвардейского солдата. Его звали Грюнштейн.

Шварц был немец, пехотный капитан, поступивший на русскую службу; он выдавал себя за инженера и получил место на корабельных верфях. Лесток давно уже принадлежал к штату Елизаветы, исполняя обязанности хирурга. Его отец, родом из Шампаньи, сказывался дворянином – L'Estocg L'Helvegue. Покинув Францию после отмены Нантского эдикта, он поселился в Германии,

в Целле, где был сначала цирюльником, а затем хирургом при дворе Георга-Вильгельма, последнего Брауншвейг-Целльского герцога. Сын его родился в 1692 году и приехал искать счастья в Россию в 1713 г. Он обратил на себя внимание Петра Великого ловкостью, с какою орудовал хирургическим ножом, и живостью ума, но имел несчастье не понравиться знаменитой горничной Екатерины I, Крамер, приписавшей ему неприязненные суждения об отношениях царя со своим денщиком Бутурлиным. Он счастливо отделался лишь ссылкой в Казань, откуда Екатерина поспешила вернуть его; и хотя она знала, что он был глубоко безнравственный человек, она все же приставила его к особе Елизаветы, которой было в то время шестнадцать лет.

Перехожу к организации заговора, поскольку таковой существовал, пользуясь для восстановления истинных фактов донесениями самого маркиза Шетарди, проверенными теми депешами, которые Версальский кабинет получал одновременно из Стокгольма и оставшимися до сих пор без рассмотрения. Они совершенно ясно восстанавливают факты и доказывают, что участие Франции в этом событии оставалось лишь в виде предположения, и что этот план, в противоположность принятой всеми версии, не исходил из инициативы молодого представителя французской дипломатии в Петербурге.

III. Отношения Елизаветы к Франции и Швеции

Маркиз Шетарди занял свой пост в 1739 г., играя чисто представительную роль, чрезвычайно ему подходившую. Ограничиваясь сначала лишь обменом любезностей, его сношения с Елизаветой приняли более интимный характер лишь в ноябре 1740 г., после падения Бирона, принесшего еще новое разочарование Елизавете. Она втайне послала к нему Лестока, чтобы выразить ему ее сожаление по поводу прекращения его посещений. Она и лица, видавшиеся с нею, были в подозрении. Шетарди ответил ей уклончиво. Он не доверял цесаревне, полагая, что она находится в хороших отношениях с Анной Леопольдовной и, следовательно, является сторонницей Австрии. Но, к его изумлению, Лесток заговорил с сожалением о падении Бирона. Лишившись его поддержки, цесаревна потеряла все. Тут же Лесток сообщил Шетарди, какие надежды можно было возлагать на могущественную партию, преданную дочери Петра Великого и ее племяннику, герцогу Голштинскому. Маркиза это не убедило, и он даже не поспешил узнать мнение Версальского двора относительно этих намеков. Он не послал курьера и не выразил желания

поговорить с самой Елизаветой об этом щекотливом вопросе. Он отправил свое донесение обыкновенным путем и стал ждать дальнейших событий, полагая, что они далеко не оправдают смелых предположений Лестока и его повелительницы.

Через месяц шведский посланник Нолькен поставил его в тупик новым, еще более необычайным предложением. Ему было приказано, объявил он, поддержать, по своему выбору, партию герцога Курляндского, Анны Леопольдовны или Елизаветы; на это ему было дано сто тысяч талеров. Он намеревался истратить их в пользу цесаревны и рассчитывал, что его французский коллега укажет ему, как целесообразнее пустить их в дело.

Тут Шетарди испугался. Речь шла уже не о неопределенных надеждах, а о настоящем заговоре, и Нолькен видел залог его успеха в переговорах цесаревны с несколькими гвардейскими солдатами и несколькими темными лицами, находящимися у нее в услужении. И ему, представителю короля Людовика XV, предлагали принять в этом участие. Это было безумием! Однако сто тысяч талеров заставили его призадуматься. Швеция не имела возможности производить такие расходы. Откуда же шли эти деньги? Суммы, расходуемые в Стокгольме на внешнюю политику, нередко черпались во французской казне. Ввиду обычных приемов тогдашней дипломатии, предположение о поддержке, оказываемой какой-нибудь интриге Версальским кабинетом окольными путями, без ведома его прямого представителя, не заключало в себе ничего невероятного. Взвесив все это, маркиз решился ответить уклончиво, попросить инструкций и опять-таки ждать дальнейших событий.

Чтобы заставить его посетить Елизавету, понадобился еще месяц времени и очень настойчивое приглашение с ее стороны; во время свидания он был настороже и не проронил ни одного лишнего слова.

Впрочем, цесаревна и не поставила его в затруднительное положение; она ограничилась лишь тем, что со скорбью отозвалась о существующем положении вещей, которое «огорчило бы Петра Великого», и упомянула с умилением о преданности гвардии «памяти Императора и его потомству». Имя Людовика XV, вопреки мнению историков, ни разу не было произнесено в этой беседе; равным образом не были затронуты унизительные для цесаревны воспоминания о матримониальных планах, где отказ исходил не с ее стороны. По крайней мере в депешах Шетарди об этом не говорится ни слова, и ему, конечно, не простили бы в Версале слишком смелых намеков на чувства,

которые могли бы польстить королю своим постоянством, если бы Елизавета, будучи неравнодушна к красавцу Шубину, не поставила бы тем самым Людовика XV на одну доску с последним. Историки, вопреки всякой справедливости, обвинили в данном случае кардинала Флери в нерешительности, а его агента в любви к приключениям. Ла Шетарди не обнаружил ни малейшего намерения принять участие в замыслах, сообщенных ему Нолькеном; он считал их безрассудными, и французское правительство не замедлило одобрить его осмотрительность. В ответ на первые же полученные от него известия статс-секретарь Амело писал ему: «Надо думать, что, пока император жив, не может быть и речи об ее (Елизаветы) претензиях на российский престол. Поэтому всякие рассуждения об этом в настоящее время излишни».

Это был безусловный и решительный отказ во вмешательстве.

Но Нолькен продолжал упорствовать, и в январе Шетарди узнал, что при его содействии заговор начинал выливаться в определенную форму. Возник уже вопрос о вооруженном вмешательстве Швеции; ее войска должны были поддержать гвардию в случае военного бунта в пользу дочери Петра Великого.

Дело принимало серьезный оборот. Все еще не веря в его успех, Шетарди уклонялся от совместного со своим коллегой свидания, предложенного Елизаветой, но на следующий день ему пришлось явиться к цесаревне, в ответ на ее настойчивый зов; она на этот раз высказалась более определенно; она объявила, что «дело зашло так далеко, что дольше ждать не представлялось возможности», заговорила о безусловной преданности гвардии, о нетерпении заговорщиков и приступила было к самому щекотливому вопросу, выразив уверенность «в дружбе Франции», когда ей доложили о приезде английского посла. Елизавета знаком пригласила Ла Шетарди остаться и дождаться отъезда непрошеного гостя. Финч почувствовал себя лишним и сократил свое посещение. «Наконец-то мы от него избавились», – облегченно вздохнула цесаревна после его ухода. Но тотчас же Ла Шетарди пресек дальнейшие излияния, поставив ей на вид, что продолжительность их свидания может возбудить подозрения. Она лишь успела сказать ему, что ввиду того, что ей «нечего более стеснять себя, он может приходить к ней, когда ему заблагорассудится».

Он твердо решил не злоупотреблять данным ему разрешением. Между тем в Версале нашли его осторожность чрезмерной. Согласно сведениям, полученным французским правительством из Стокгольма, замысел принимал

более определенный характер, чем тот, что выяснился из донесений Шетарди из Петербурга; вместе с тем в Версале и Берлине вырабатывали план коалиции против Австрии, и комбинация, лишавшая Вену ее единственного союзника, становилась крайне желательной. В силу этих соображений маркизу Шетарди были преподаны решительные указания, выясняющие, что та роль, которую приписывает легенда кардиналу Флери и его агенту, не соответствует деятельности того и другого. Шетарди не уговаривал министра принять участие в заговоре; наоборот, кардинал все время побуждал к тому Шетарди, приказав ему поддерживать, не колеблясь, проект переворота, и сказав Елизавете, что «если король может быть ей полезен, и она даст ему возможность оказать ей услугу, она может рассчитывать, что его величество почтет себя счастливым способствовать осуществлению ее желаний».

Таким образом, вслед за Швецией, на арену собиралась выступить и Франция. Но в эту минуту предприятие встретило со стороны первой из упомянутых держав препятствия, чуть не повлекшие за собой его гибель.

Перед тем как пустить в ход главный рычаг заговора, Нолькен вдруг обнаружил его тайную пружину. Он предложил немедленно ввести на русскую территорию сильный отряд шведских войск, но требовал от цесаревны письменного обязательства возвратить Швеции земли, завоеванные Петром Великим. Он опирался на обещания, данные будто бы Елизаветой, но она впоследствии оспаривала их подлинность, и они, действительно, оказались весьма неопределенными. В своей переписке с французским послом Нолькен утверждал, что цесаревна сама признала права Швеции на возвращение ей части потерянных ею земель в виде награды за услугу, оказываемую ею дочери Петра Великого, и что она почти обещала дать на то обязательство. Но сам Амело нашел эти требования чрезмерными. Елизавета же решительно отказалась дать какое бы ни было письменное обещание, заявив, что одного ее слова достаточно. Нолькен оказался неуступчивым, и Елизавета снова обратилась к содействию Шетарди.

По истечении нескольких дней, проведенных ею в деревне, где она давала обед офицерам армейского полка, квартировавшегося по соседству, она вызвала к себе Шетарди и сообщила ему, как ей трудно было сдерживать рвение своих приверженцев, между тем как Нолькен своими неприемлемыми требованиями препятствовал исполнению задуманного им плана.

В силу того, что, согласно полученным инструкциям, маркизу надлежало действовать заодно со своим шведским коллегой, он защищал, хотя и слабо, образ действия Нолькена, казавшийся и ему недопустимым, и добавил, что он «лично желал бы, чтобы это предприятие приняло определенное направление, ввиду того, что связи, существующие между Швецией и Францией, дали бы, может быть, королю возможность так или иначе доказать цесаревне свою дружбу».

Большего она от него добиться не могла. Он умышленно ничего определенного не говорил и так убежденно отстаивал правильность своего поведения перед своим правительством, что и оно начало колебаться. Амело возымел подозрения. Была ли Елизавета искренна? Смелость Елизаветы, сменившая ее привычную робость, внушала ему подозрения. Не служила ли она орудием для вовлечения Франции и Швеции в ловушку, уготованную им правительством Анны Леопольдовны? «Я не усматриваю, – писал он Шетарди, – соответствия между твердым и отважным планом цесаревны и всем тем, что мне сообщали о легкомыслии и слабости ее характера, что мне и внушает некоторое недоверие». Но это впечатление было не длительно, и следующий курьер привез маркизу указания, заставившие его выйти из его пассивной роли. Ему было предписано сказать Елизавете, что военные приготовления шведов производились с ведома французского короля, и что «его величество даст им возможность поддержать переворот, если она совершит его в согласии с ними».

В конце мая Амело проявил еще большую настойчивость. Валори, французский посланник в Берлине, и Бель-Иль, доверенное лицо кардинала Флери, сообщили ему требования, которыми Фридрих обусловливал исполнение своих обязательств по отношению к Франции. Следовало во что бы то ни стало принудить шведов действовать. Шетарди было поручено уговорить Елизавету склониться на притязания Нолькена. Маркиз предложил ей передать документ в его руки. Видя, что ее припирают к стене и вынуждают принять решение, она отказала наотрез, объясняя свой поступок «боязнью заслужить упреки своего народа, если бы она каким бы то ни было образом принесла его в жертву правам, предъявленным ею на престол». В то же время, отказываясь от принятого ею решения «больше не стеснять себя», она сочла нужным временно прекратить свои сношения с французским послом. Незадолго до того она совершила большую ошибку, думая, что ей удастся привлечь на свою сторону грозного Ушакова, начальника тайной полиции, довольно грубо отвергнувшего ее предложение. Она полагала, что он не только был предупрежден о заговоре, но обладал, пожалуй, и доказательствами его существования. Вместе с тем она узнала, что капитан Семеновского полка,

ее явный сторонник, будучи в карауле в императорском дворце, был обласкан герцогом Брауншвейгским, наговорившим ему множество лестных слов и подарившим ему к тому же триста червонцев. Следовательно, заговор был известен Анне Леопольдовне и ее мужу, и они склонны были всеми мерами предупредить его осуществление. Цесаревне уже мерещилось, что ей обрезают косы и облекают ее красивое тело в монашеское одеяние. Между тем, she has not a bit of nun's flesh about her[1 - В ней не было ни кусочка монашеского тела.], – утверждал Финч. Она боязливо вернулась к прежнему замкнутому образу жизни. Нолькену пришлось даже прибегнуть к кровопусканию при содействии Лестока, чтобы добиться каких-нибудь известий.

В мае хирург посетил Шетарди, но сумел лишь обнаружить томившее его беспокойство. «При малейшем шуме он бросался к окошку, считая себя уже погибшим». Сама цесаревна, завидев маркиза в саду летнего дворца, осторожно избегала встречи с ним и даже хвалилась этим перед правительницей.

В конце июня Нолькен был отозван своим двором; Швеция, помимо Елизаветы, готовилась к войне, уверяя вместе с тем цесаревну, что образ действия шведского правительства стоит в зависимости от ее решимости его поддержать. В действительности же Швеция откладывала объявление войны лишь потому, что выжидала более крупной субсидии со стороны Франции, и сама еще не была вполне готова к войне. Нерешительность цесаревны была ей на руку в данную минуту, давая возможность еще поторговаться с Версалем и завершить свои приготовления. Откланиваясь Елизавете, шведский посол все же настаивал на письменном обязательстве, уверяя, что без него невозможно было приступить к делу. Она сделала вид, что не поняла, о чем идет речь, и знаком показала, что присутствие камергера мешает ей объясниться; затем она шепнула ему: «Я ожидаю лишь выступления ваших войск, чтобы начать действовать со своей стороны. Завтра Лесток будет у вас». Нолькен вообразил, что победа осталась за ним. Но хирург привез лишь письмо цесаревны к герцогу Голштинскому, содержавшее, как он уверял, «удостоверение признательности его повелительницы относительно Франции и Швеции». Он обещал еще раз посетить Нолькена, но так и не вернулся.

В июле Шетарди чуть было не последовал за своим коллегой в отставку, вследствие затруднений в церемониале, возникших по поводу того, что маркиз хотел вручить свои верительные грамоты лично императору. По наущению Остермана, Анна Леопольдовна воспользовалась этим обстоятельством, как предлогом, чтобы избавиться от посла, казавшегося ей подозрительным,

вследствие его частых свиданий с Елизаветой и Нолькеном. Шетарди отказали наотрез в его хозяйстве, он перестал являться ко двору и его отозвание было дело решенным.

Елизавета не подавала между тем признаков жизни. Лишь в августе она послала к маркизу одного из своих камергеров, по всей вероятности Воронцова; пробравшись ночью в сад посла, он рассказал ему, что цесаревна несколько раз пыталась его увидеть. Сад маркиза выходил на Неву; она три раза проезжала мимо в лодке, причем приказывала трубить в рог, чтобы привлечь его внимание. Она даже намеревалась купить дом по соседству, но это намерение стало известным и от него пришлось отказаться. Теперь она предлагала ему свидание на Петербургской дороге, на следующий день в 8 часов вечера. Вооружившись пером с «невысыхающими чернилами» и копией обязательства, требуемого Нолькеном, Шетарди явился в назначенное время на указанное место; тщетно прождав цесаревну до 11 ч., он убедился, что она посмеялась над ним.

Он с грустью принялся готовиться к отъезду, когда записка Остермана, сообщавшая ему важное известие, расстроила все его планы. Швеция решила не ждать более действий Елизаветы.

– Это событие не должно вас удивить, – сказал вице-канцлер при свидании с маркизом. – Вы, вероятно, к нему приготовлены.

Вид у него был серьезный, но он «уже не ворочал глазами, показывая белки», как в предыдущих свиданиях. Наоборот, он самым любезным тоном сообщил Шетарди, что вопрос о церемонии решен в смысле его желаний, и что император примет его в «особой и тайной аудиенции». Маркиз помнил при этом, конечно, Константинополь и Вилльнева, решавшего по своему усмотрению участь великих визирей; таким образом объявление войны, на которую представитель Франции в Стокгольме дал десять миллионов, не считая щедрот, розданных «крестьянам» и «духовенству» – местным демократам – было причиной неожиданного возврата милостей к представителю ее на берегу Невы.

Елизавета, в свою очередь, сочла нужным оказать ему любезность. Через посредство секретаря шведского посольства она передала Шетарди, что только страх себя скомпрометировать помешал ей подписать известное обязательство, но что подлинник его хранится у нее, и она подпишет его, «как только дело наладится настолько, что ей возможно будет сделать это безбоязненно». Она объявила себя также готовой возместить Швеции военные издержки,

выдавать ей впоследствии определенные субсидии, даже по мере надобности тайно ссужать ее деньгами, и обещала не иметь других союзников, кроме Франции. Она считала, что «идет дальше своих прежних обещаний», но не упоминала вместе с тем ни единым словом о возвращении шведских провинций.

Забыв недавний опыт, маркиз поспешил попросить у нее нового свидания на следующий день. По дороге к графу Линару он пройдет мимо крыльца цесаревны и просит ее выйти сюда около половины первого. К несчастью, на следующий день шел дождь; свидание опять-таки не состоялось, и человек, управлявший, по общему мнению, широкими дипломатическими, военными и революционными комбинациями, где вместе с будущностью России были поставлены на карту интересы грозной европейской коалиции, направленной против Австрии, – бедный Шетарди в следующих выражениях жаловался своему коллеге в Стокгольме на беспомощность своего положения:

«Я все еще не понимаю, чего, собственно говоря, от меня хочет Версальский двор».

Пружины, долженствовавшие привести эту коалицию в движение, ускользали, по-видимому, в Петербурге от управления и согласования, и соглашение между двумя главными заинтересованными лицами зависело от изменения барометрических показаний!

Это соглашение было невозможно, кроме того, и потому, что цесаревна все еще только заигрывала с гвардейскими солдатами, от времени до времени раздавая им деньги и все еще боясь положиться на их преданность. Дабы объяснить свою бездеятельность, она жаловалась, что, объявляя войну, шведы не упомянули о том, что они поднимают оружие за ее права, и не поставили во главе войск молодого герцога Голштинского, как то было обещано Нолькеном. В сентябре она через посредника, назначавшего Шетарди свидания в лесах, объявила ему, что у ней иссякли материальные средства, и ей нужны 15 тысяч червонцев. Шетарди поморщился, но согласился все-таки дать ей пока две тысячи червонцев, заняв их у товарища, выигравшего крупную сумму в карты.

Вот к чему сводилось предоставление в распоряжение цесаревны «казны и влияния Франции»!

Амело одобрил этот расход, но выразил опасение, что выданная сумма «не будет надлежащим образом употреблена». Им снова овладели сомнения насчет силы и веса партии, приверженной цесаревне. Выраженное ею неудовольствие по поводу герцога Голштинского он считал неуместным и противоречащим ее собственным интересам. Какую роль мог играть немецкий принц в национальном русском движении? Притом король и королева Шведские терпеть его не могли.

В октябре, несмотря на полученные две тысячи червонцев и на еще более щедрые обещания маркиза Шетарди, Елизавета нашла, что ее иностранные союзники поддерживают ее весьма недостаточно, и стала еще нерешительнее в своих действиях, тем более, что война принимала неблагоприятный оборот для шведов. Манифест, наконец выпущенный ими, согласно желанию цесаревны, где они провозглашали себя защитниками ее прав, не помешал Ласси одерживать над ними победу за победой, а Версальский двор, по-видимому, не собирался прийти к ним на помощь. В эту минуту, однако, в Петербурге появился новый французский агент, но Шетарди ничего не знал ни о его приезде, ни о деле, порученном ему. Посол был уязвлен, а в цесаревне его приезд пробудил надежды, оказавшиеся, однако, призрачными. Вновь прибывший агент, по фамилии Давен, был снабжен рекомендательным письмом на имя жены французского художника Каравака, входившего в круг приближенных Елизаветы. Увы! он оказался лишь свагом; искателем руки цесаревны был принц Конти, причем Версальский двор не обнаруживал намерения поддержать его предложение. Елизавета не была особенно им польщена. В данную минуту замужество было бы для нее вовсе несвоевременным! Она с еще большей горечью стала жаловаться на то, что Франция от нее отступилась, тогда как последняя считала себя вправе сложить на нее ответственность за обоюдное разочарование. Амело писал Шетарди: «Я до сих пор не усматриваю ничего со стороны цесаревны, что заставило бы меня предположить, что усилия его величества дают требуемые результаты. Вместо твердого и определенного плана я вижу лишь нерешительные колебания».

Плана, действительно, не было, и он так-таки никогда и не составился. А усилия его величества давали пока в результате лишь поражение шведов в пользу прусского короля!

Впрочем, в конце ноября Елизавета через нового посланника сообщила маркизу Шетарди, что она готова привести заговор в исполнение в согласии со Швецией.

Но ей необходимы были для этого остальные тринадцать тысяч червонцев из тех пятнадцати тысяч, что она просила раньше. Шетарди отговорился тем, что им еще не получен ответ на его представление по этому поводу. Он лгал – он никакого кредита в Версале не испрашивал и просить не собирался. Постоянные субсидии французскими деньгами, проходившие будто бы через его руки в руки цесаревны и питавшие заговор, относятся также к области легенды. Скептицизм маркиза относительно партии цесаревны и ее шансов на успех все более и более укреплялся. Несколько дней спустя он, однако, сильно встревожился. Лесток, давно уже не посещавший его, явился к нему и своими речами дал ему понять, что Елизавете придется, может быть, «уступить силе течения», т. е. нетерпению гвардейских солдат. Шетарди испугался. Он также признавал необходимость какого-нибудь плана для выполнения заговора, но не видел и следа его. По его мнению, надо было сговориться, установить общий план действий с Францией и Швецией.

– Я согласна, – ответила ему Елизавета через посредника. – Вы сами выберете подходящий момент.

Он предложил отправить в Стокгольм посланного, чтобы выработать необходимые меры и склонить правительство отдать Левенгаунту соответствующие приказания. Но он не имел никаких иллюзий относительно результатов этого шага, усматривая в нем лишь продолжение игры, длившейся безрезультатно уже более года. Во время случайного свидания с Елизаветой при выходе из ее саней, она показалась ему еще «настолько нерешительной», что, на всякий случай, и дабы она не вздумала вовсе отступить от своего намерения – что было бы несчастьем для Швеции – он решил напугать ее, сказав, что до него дошли сведения о намерении заключить ее в монастырь.

Это было пугалом, которым Лесток и Шварц пользовались для устрашения ее, подобно тому, как детей пугают букой, и Шетарди это знал.

Очень взволнованная, он объявила, что если ее доведут до крайности, то она покажет, что «в ее жилах течет кровь Петра Великого».

Разговор оживился, и о перевороте заговорили, как о реальной возможности. Тут же составлен был проскрипционный список. Шетарди посоветовал прежде всего арестовать Остермана, Миниха, сына фельдмаршала, барона Менгдена, графа Головкина, Левенвольда и их приверженцев. Он не назвал ни Линара, которого в данное время не было в Петербурге, ни Юлии Менгден, потому что,

хотя он и превратился в настоящего заговорщика, в первый и последний раз в жизни, он все же оставался рыцарем. Он посоветовал цесаревне надеть панцирь в нужную минуту. Но когда же надлежало действовать? Еще прежде решено было отправить посланного в Стокгольм, и теперь приходилось ждать, пока это мудрое решение принесет ожидаемые плоды. Впрочем, в самом Петербурге еще ничего не было готово. Елизавета с этим согласилась. Не существовало ни плана, ни организации. Признаваясь в этом, оба заговорщика как бы очнулись от сна, поняв, что в своем воображении они двигали призраками, что в данную минуту ничего не было сделано и делать было нечего; они разошлись, ни на чем не остановившись. Это происходило 22 ноября 1741 г., и роль маркиза Шетарди в этой длинной интриге закончилась в этот день. Несколько часов спустя, подобно падающей лавине, другие элементы заговора, презираемые маркизом и большей частью ему неизвестные, внезапно пробудились к деятельности, под влиянием совершенно неожиданного стечения обстоятельств; но он тут был ни при чем и ничего не знал о случившемся, и ни Франция, ни Швеция не приняли никакого участия в совершившемся событии.

IV. Неожиданное стечение обстоятельств ускоряет развязку заговора

На следующий день был куртаг. Елизавета появилась при дворе. Ее отношения с правительницей оставались учтивыми, даже сердечными. Поглощенная своей любовью к Линару, привязанностью к Юлии Менгден, приданое которой она готовила, своими заботами о детях, в качестве хорошей матери-немки и при ее все возрастающей склонности к беспечной лени, Анна Леопольдовна принимала равнодушно или с досадой доходившие до нее вести об интригах цесаревны. Только этим и объясняется парадоксальная безнаказанность этого заговора, совершенно открыто обнаруживавшегося в казармах и проявлявшегося в других местах ежедневными инцидентами в течение нескольких месяцев. Когда Линар, уезжая, посоветовал ей заключить Елизавету в монастырь, она ответила: «К чему это? Ведь все равно останется чортушка». Она подразумевала молодого герцога Голштинского. В то время, как Остерман, побуждаемый Финчем, рассказывал ей о подозрительном поведении Лестока, она прервала его, с гордостью показывая ему ленточки, пришитые ею к одежде маленького императора. Она, впрочем, в глубокой тайне подготовляла событие, которое, по ее мнению, должно было положить конец честолюбивым замыслам «чортушки» и ее тетки. Мардефельд его предугадал и предупредил о нем свой

двор: 9 декабря, в день своих именин, она собиралась провозгласить себя императрицей и поручила Бестужеву составить третий манифест на этот случай, в дополнение к двум другим, написанным Тимирязевым.

Тем не менее она решила воспользоваться куртагом, чтобы объясниться с цесаревной. Она только что получила важное письмо от Линара, содержавшее довольно точные сведения о действиях Шетарди и Лестока. Прервав карточную игру, по-видимому, очень интересовавшую Елизавету, она увлекла цесаревну в уединенную гостиную, где слово в слово повторила ей содержание письма. Елизавета была ошеломлена. Через одну грузинку, принадлежавшую к челяди правительницы, и лакея Антона-Ульриха, ежедневно приходившего с донесениями к Шварцу, она знала все, что происходило во дворце; оба шпиона прочитывали и письма, валявшиеся на столах. Переписка Линара, очевидно, ускользнула от их наблюдения; потому-то цесаревна не была предупреждена и не успела приготовиться к защите. Она принялась убеждать Анну Леопольдовну в своей невиновности; пусть скажут Шетарди, чтобы он больше не посещал ее; пусть арестуют Лестока и поступят с ним, как он того заслуживает, если он виновен. Она выдала с головой своего сообщника и со слезами бросилась к ногам правительницы. Анна Леопольдовна тоже заплакала, и обе женщины, смешав таким образом свои слезы и волнение, разошлись довольно дружелюбно.

На следующий день, 23 ноября, рано утром Лесток прибежал к Шетарди в сильном волнении. Надо действовать немедленно, а то все будет потеряно! Выслушав рассказ об инциденте, вызвавшем эту тревогу, посол отказался ее разделить. В прежнее время, когда он не представлял еще своих верительных грамот и не чувствовал себя под защитой дипломатической неприкосновенности, он также легко пугался и, ввиду опасности, грозившей ему, вследствие его участия в заговоре, даже превратил свой дом в крепость. Находясь под двойной охраной своего официального положения и впечатления, произведенного на Остермана войной со Швецией, он не усмотрел в сообщении хирурга ничего, что могло бы его интересовать – это слово встречается в одной из его депеш – или взволновать. Получены ли известия от Левенгаупта? Нет. Следовательно, надо еще подождать. Он предполагал даже отстрочить приведение заговора в исполнение на целый месяц, довольно открыто обнаруживал главную свою заботу: охрану интересов Швеции и попутно и Франции в этом деле; успех заговора казался ему сомнительным и маловероятным, но существование его являлось само по себе преимуществом для обеих держав, ослабляя общего врага.

Лесток ушел от него в унынии. Его осаждали иные заботы. Он знал через своих шпионов, что накануне решено было его арестовать; Остерман просил лишь, чтобы предварительно удалили из Петербурга Преображенский полк, опасаясь, чтобы в нем не вспыхнуло возмущение по этому поводу. Предлогом к тому служил предстоящий поход на шведов. Отправившись в ресторан, по всей вероятности, в трактир Иберкампфа, на Миллионной, где продавались флиссингенские устрицы, парижские парики и венские экипажи, и где он, обыкновенно, сходился с друзьями, Лесток узнал, что всем гвардейским полкам только что отдан приказ о выступлении. Это было равносильно разрушению заговора и его собственной гибели. Он уже чувствовал кнут на спине.
Он бросился к Елизавете. Занимаясь рисованием в часы досуга, он набросал как-то аллегорическую картину, изображавшую цесаревну в двух видах: с одной стороны сидящую на троне, с короной на голове, с другой – в монашеском одеянии и окруженную орудиями пытки. Он показал ей рисунок; под ним она прочла надпись: «Выбирайте!» Она все еще была в нерешительности, когда явились несколько гвардейских солдат, тоже находивших, что следует или тотчас же приступать к действиям, или вовсе отказаться от своих намерений. Сержант Грюнштейн держал речь от их лица и был особенно красноречив. Лесток подкрепил его слова весьма убедительным доводом: «Я чувствую, что все скажу под кнутом!»

Елизавета, наконец, решилась, и исполнение заговора было назначено на следующую ночь. Вечером участники его должны были обойти казармы и, если настроение окажется благоприятным, приступить к действиям. Грюнштейн считал необходимой последнюю раздачу денег. Елизавета порылась в шкатулках; у нее было всего триста рублей. Лесток снова поскакал к Шетарди и ничего от него не добился. Живя широко, тратя деньги без счету, сам маркиз всегда в них нуждался. По крайней мере он сослался на скудость своих средств, справедливо казавшуюся неправдоподобной. Он обещал две тысячи рублей на следующий день, рассчитывая на любезность партнера, выигравшего в карты. Таким образом принц Конти имел основание писать впоследствии: «Революция (в России) произошла без нашего участия», добавляя при этом, что посланнику короля было непростительно не воспользоваться создавшимся положением и, проявив столько смелости в других делах, показать себя столь «неповоротливым» тогда именно, когда смелость была бы чрезвычайно уместна.

Мардефельд, упоминавший в своих докладах о шестистах тысячах дукатов и «о драгоценностях и нарядах» на тридцать шесть тысяч, присланных цесаревне Францией, тоже сознался впоследствии в своей ошибке. Лесток вернулся от Шетарди с пустыми руками, и Елизавете пришлось заложить свои

драгоценности.

V. Ночь 24 ноября

В одиннадцать часов вечера Грюнштейн и его товарищи вновь появились у Елизаветы с ведьма благоприятным докладом: гвардейцы рады были действовать, в особенности с тех пор, как их решили удалить из столицы и отправить в зимний поход. Рискуя жизнью и тут и там, они предпочитали войне революцию. Лесток послал двух людей к Остерману и Миниху разузнать, не забили ли там тревоги. Ничего подозрительного они не заметили. Сам он отправился в Зимний дворец; в окнах комнаты, которая, по его предположению, была спальней правительницы, света не было. Как известно, Анна Леопольдовна постоянно меняла опочивальню. Вернувшись к Елизавете, он нашел ее молящейся перед иконой Богоматери. Впоследствии было высказано предположение, что она именно в эту минуту и дала обет отменить смертную казнь, в случае удачи опасного предприятия.

В соседней комнате собрались все ее приближенные: Разумовские, Петр, Александр и Иван Шуваловы, Михаил Воронцов, принц Гессен-Гомбургский с женой и родные цесаревны: Василий Салтыков, дядя Анны Иоанновны, Скавронские, Ефимовские и Гендриковы. Им пришлось ее подбадривать, а Лестоку удвоить свое красноречие и энергию, ввиду того, что в последнюю минуту у нее все еще не хватало мужества и решимости. Он надел ей на шею орден св. Екатерины, сам вложил ей в руки серебряный крест и вывел ее из дома. У двери стояли сани; она села в них вместе с хирургом; Воронцов и Шуваловы стали на запятки, и они понеслись во весь дух по пустынным улицам города, направляясь к казармам преображенцев, где теперь стоит собор Спаса Преображения. Алексей Разумовский и Салтыков следовали в других санях вместе с Грюнштейном и его товарищами Мало вероятно, чтоб это маленькое шествие остановилось по дороге у дома Шетарди, и чтоб Елизавета нашла нужным предупредить посла о том, что она была «на пути к славе». Первый рапорт маркиза о перевороте, хотя и весьма обстоятельный, не упоминает о подобном эпизоде, который был бы совершенно ненужным и крайне опасным Посол жил не один в своем доме, застигнутый врасплох, он не мог бы принять мер предосторожности против тревоги, которая пробудилась бы в его приближенных и, таким образом, несомненно рас-пространилась бы и далее. Дневник секретаря посольства Морамбера и еще более подробная историческая

записка, составленная в 1754 г. для французского правительства, тоже ничего не говорят по этому поводу. Шетарди вставил эту подробность лишь в последующем письме, дабы объяснить, почему, будучи застигнут врасплох неожиданной развязкой заговора, он не имел возможности вовремя оказать требуемой от него денежной помощи Может быть, однако, ночное посещение посольства, как оно ни было неосторожно, и составляло часть той картинной обстановки переворота 25 ноября, которой Елизавета справедливо придавала такое большое значение. Она летела к славе под эгидой Франции, – только что отказавшей ей в двух тысячах рублях на это завоевание!

Сани остановились перед съезжей избой полка, где не предупрежденный ни о чем караульный забил тревогу: настолько заговор был неподготовлен. Лесток кулаком прорвал его барабан, тогда как тринадцать гренадер, посвященных в тайну, разбежались по казармам, чтобы предупредить своих товарищей. Здесь были одни лишь солдаты, помещавшиеся в отдельных деревянных домах. Офицеры все жили в городе, и лишь один из них дежурил по очереди в казармах. В несколько минут собралось несколько сот человек. Большинство из них не знало еще, в чем дело.

Елизавета вышла из саней.

– Узнаете ли вы меня? Знаете ли вы, чья я дочь?

– Узнаем, матушка!

– Меня хотят заточить в монастырь. Готовы ли вы пойти за мной, меня защитить?

– Готовы, матушка; всех их перебьем!

– Не говорите про убийство, а то я уйду; не хочу я ничьей смерти.

Солдаты были изумлены и смущены. Но она поняла, что они в ее руках.
Она подняла крест.

– Клянусь в том, что умру за вас. Целуйте и мне крест на этом, но не проливайте напрасно крови.

– Клянемся!

Они бросились прикладываться к кресту; тем временем арестовали дежурного офицера, прибежавшего со шпагой наголо, но сопротивления не оказавшего.

Рассказывая этот пролог к государственному перевороту, современники, может быть, кое в чем и увлеклись, но одна и та же версия повторяется почти неизменно во всех рассказах, и так как она согласна с характером действующих лиц и с современными нравами, его я считаю правдоподобным.

Совершив обряд присяги, Елизавета молвила: «Пойдем!» Последующая программа была указана прецедентами, начертана, так сказать, революционным протоколом, подробности которого только что были установлены Минихом при низложении им Бирона. Около трехсот человек отправились вслед за цесаревной вдоль Невского проспекта.

На Адмиралтейской площади она вышла из саней и пошла пешком. Но ее маленькие ноги вязли в снегу, и гренадеры зароптали:

– Мы что-то тихо идем, матушка!

Она позволила двум солдатам поднять ее и понести на руках. У Зимнего дворца Лесток отделил двадцать пять человек, получивших приказание арестовать Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина. Восемь других гренадеров пошли вперед. Зная пароль, они притворились, что совершают ночной обход, и набросились неожиданно на четырех часовых, охранявших главный вход. Окоченев от холода и запутавшись в своих широких шинелях, часовые легко дали себя обезоружить. Заговорщики вошли во дворец, направляясь прямо в кордегардию. Офицер крикнул: «на караул!» Его свалили на пол, причем, как рассказывают, Елизавета отвела в сторону штык, чуть было не пронзивший его, и поднялась в покои правительницы. Линар был в отсутствии, и она спала рядом с мужем, хотя и была с ним в то время в очень дурных отношениях, если верить Мардефельду. Они друг с другом не разговаривали, но были точны в исполнении супружеских обязанностей.

Когда они ложились спать, Левенвольд, как утверждают, предупредил Анну Леопольдовну о грозившей ей опасности; но она обозвала его сумасшедшим и заснула глубоким сном. Один гренадер, впоследствии замешанный в заговоре

против самой Елизаветы – его фамилия была Ивинский – грубо разбудил несчастных. Елизавета запретила тревожить Иоанна VI; но вскоре поднявшийся кругом шум пробудил ребенка. Его кормилица принесла его в кордегардию, где дочь Петра Великого, взяв его на колени, умилилась над ним.

– Бедный невинный младенец! Твои родители одни виноваты.

Она увезла его в своих санях, возвращаясь по Невскому проспекту, уже усеянному хлынувшим народом, приветствовавшим ее криками: ура! Слыша радостные возгласы, ребенок развеселился, улыбаясь той, что отняла у него корону, он запрыгал у нее на руках.

Со смерти Петра Великого, – воцарение внука которого также не было вполне правильным, – это был, на протяжении пятнадцати лет, пятый или шестой переворот, совершенный несколькими честолюбцами с помощью горсти буйных солдат. В других трудах я указал, вместе с причиной этих периодических кризисов, и на то, что позволило стране вынести их, – именно на огромную силу сопротивления, таившуюся в организме, находившемся в периоде формации, причем кризисы эти, подобно болезням роста, сопровождали его развитие, не задерживая его. Ноябрьская революция 1741 г. по составляющим ее элементам – воззванию к мятежу, участию иностранцев и подкупу во всех ее видах, – была в принципе самой предосудительной из всех и, по-видимому, самой угрожающей для будущности народа. Что мог он ожидать от императрицы, достигшей трона при содействии распутных гренадеров, от дочери Петра Великого, подготовлявшей заговор, сообразуясь с движениями шведской армии, официально отправленной в поход в целях облегчения его осуществления?

Однако, как мы видели, и честолюбие Елизаветы, и слабость Анны Леопольдовны не шли дальше известной границы, за которой наследию Петра Великого грозила бы действительная опасность. Как ни жаждала цесаревна власти, она все же не решилась на сделку, безвозвратно погубившую бы это наследие. Армия Ласси, хотя и плохо руководимая и еще хуже снабженная, все же отбросила врага. Так, несмотря на самые худшие случайности, страна, с толпой авантюристов и авантюристок во главе, ожесточенно оспаривавших друг у друга управление ею, не сдавалась, шла по самому краю бездны, не проваливаясь в нее, впитывала самые опасные яды, отбрасывая смертельные его части, удерживалась на склоне непоправимых падений инстинктом самосохранения, сила которого является как у отдельных лиц, так и у нации самым верным

признаком и мерилом их жизненности.

Эта внутренняя упругость свойственна всем народам в ранние часы их истории. В XV и XVI столетиях Польша испытывала кризисы анархии более сильные, чем те, что свели ее в могилу. Но она была когда молода. В своей более долгой эволюции, Россия XVIII века дожила лишь до весны своей жизни, не окончившейся и по нынешнее время. Ее молодость и была ее спасением между 1725 и 1742 годами. Она не допустила отравления главных органов своего мощного тела и позволила здоровым его частям сохранить всю силу и восторжествовать в той долгой выработке национального гения и патриотизма, чудесное развитие которых мы теперь изучаем. Вступая в переговоры с Нолькеном, Елизавета, несомненно, не более тщательно заботилась об интересах своей родины – что она и доказала неоднократно впоследствии, – чем польские вельможи, приезжавшие в Петербург для подобных же сделок. Но ее останавливало чувство, чуждое им, и она открыто говорила, какое: страх ответственности перед общественным мнением.

Ласси был лишь наемником, но он стоял во главе людей, которые растерзали бы его, если б он не совершил своего долга перед лицом врага. Таким образом, не принимая прямого участия в движении, приведшем в Зимний дворец сообщницу Лестока, Шварца и Грюнштейна, национальное чувство, – т. е. смутное и еще непродуманное, но мощное сознание общих интересов и обязанностей, – сказалось в нем, обуздывая некоторые его крайности, и могло по справедливости приписать себе долю победы при водворении нового режима.

Глава вторая

Восшествие на престол

I. Восшествие на престол

Темная ночь; улица Петербурга, тихая и пустынная, под толстым снежным покровом, в морозном воздухе северной зимы; заворачивая из темного переулка,

показывается толпа солдат в сопровождении молодой и хорошенькой женщины…

Опять-таки анекдот!..

Но спрашиваю себя, как бы я мог избегнуть этого анекдота? Привести, говоря об исторической ночи 25–26 ноября 1741 г., официальные манифесты, возвестившие России и Европе о восшествии на престол дочери Петра Великого? Это было бы, конечно, менее картинно, в более строгом вкусе, как этого желают некоторые мои читатели – и совершенно неверно. Единственная, абсолютная истина – это именно описанная мною ночная экспедиция, с виду банальная и двусмысленная, женщина в сопровождении нескольких гренадеров; затем часовые, оглушенные у входа во дворец, другая женщина, извлеченная из постели, ребенок, взятый из колыбели; в общем – для того, чтобы положить конец регентству Анны Леопольдовны, свергнуть с престола Иоанна III и возвести на престол Елизавету, – почти дословное повторение драмы, за год до того низложившей Бирона.

Дворцовые драмы, начинающиеся в казармах; распри между женщинами и фаворитами; поединки между авантюристами и иноземными династиями; заговоры, революции, убийства, в которых Россия погрязала почти целое столетие, словно в обрывистом и тинистом русле потока, как мне вычеркнуть вас из истории?

С восшествием на престол Елизаветы мы приблизились к несколько менее бурному промежутку времени, но споткнувшись о весьма неприглядный порог! В предыдущей главе я описал первые фразы переворота, спешный заговор, захват Зимнего дворца и беспрепятственное пленение его обитателей. Один очевидец этого события оставил нам описание последующих часов.

Князь Яков Шаховской, приверженец Бирона в царствование Анны Иоанновны, затем сторонник Волынского, когда звезда фаворита стала меркнуть, был человек ловкий. Став регентом после смерти Анны, Бирон не поставил ему в укор его измены, и вскоре так был очарован новыми доказательствами преданности с его стороны, что назначил своего вчерашнего противника на место полицмейстера. Когда регентство закончилось катастрофой, Шаховской беспрекословно позволил перевести себя на место помощника полицмейстера. Вскоре в силу заступничества всемогущего родственника, Головкина, ему предоставлено было, в ожидании лучшего, место в Сенате.

Он крепко надеялся, что долго ему ждать не придется. Карьеры делались в то время в России с головокружительной быстротой. 25 ноября 1741 г. он обедал у Головкина; гостей обоего пола было более ста человек; после обеда были танцы, затем ужин. Вернувшись домой в час ночи, сенатор уснул было глубоким сном, когда сильные удары в ставни и громкий зов разбудили его. Он узнал голос одного сенатского пристава.

– Что такое?

– Ваше сиятельство, вставайте!

– Зачем?

– Чтобы присягать цесаревне Елизавете, только что вступившей на престол.

Опять катастрофа, опять перемена, опять начинать карьеру с начала!

Карета Якова Петровича не могла пробиться сквозь толпу, окружавшую дворец. Невзирая на сильный мороз, обыватели и солдаты запрудили площадь, теснясь у зажженных больших костров и распивая водку. Ему пришлось сойти и, завязая в снегу, протискаться до входа во дворец, к которому одновременно подходил один из его товарищей Алексей Дмитриевич Голицын.

– Как это сделалось?

– Не знаю.

Лишь в третьем зале они узнали некоторые подробности от Петра Ивановича Шувалова, одного из героев минувшей ночи. Но тотчас же из соседней группы, состоявшей из офицеров, послышался иронический и презрительный голос.

– Сенаторы! Что теперь скажете, сенаторы!

То был лозунг нового режима. Cedat toga armis! В отдалении, окруженная другой группой офицеров, недоступная, Елизавета сияла радостью, весело разговаривая и звонко смеясь среди бряцанья сабель и шпор…

Она захватила власть, но на каких основаниях? Никто не знал. Сама она того не знала. После принесения присяги в церкви Зимнего дворца, уступая желанию толпы, требовавшей ее появления, она вышла на балкон, держа ребенка в руках. То был маленький Иоанн. Император? Казалось, что окончилось лишь регентство Анны Леопольдовны, и что тетка заняла место матери вплоть до совершеннолетия государя. Тут же изданный манифест не рассеял недоразумения. Елизавета в нем возвещала, что вследствие беспорядков, происшедших во время малолетства Иоанна, ее верные подданные, как духовные, так и светские, и главным образом гвардейские полки, единогласно просили ее занять престол. Но она не поднимала вопроса о своих правах на престол и не произнесла слова «императрица». Но внутри дворца солдаты кричали во весь голос это слово, и на площади бессознательная толпа вторила им. Как бы повинуясь воле народа, Елизавета, вероятно, тут и почерпнула поощрение, в котором нуждалась. В десять часов утра она объявила Ше-тарди, что ее только что признали императрицей. Вместе с тем, как бы спрашивая совета, она разрешила страшный вопрос:

«Что сделать с принцем Брауншвейгским?»

Императора уже не существовало.

Шетарди ответил, не колеблясь: «Надо употребить все меры, чтобы уничтожить даже следы царствования Иоанна III».

В два часа последовал новый вопрос: «Какие предосторожности принять относительно иностранных государств?» Ответ: «Задержать всех курьеров, пока ваши собственные посланные не успеют объявить о совершившемся событии».

Не посмев вступить в игру, пока карты не были раскрыты, Шетарди с тем большей решительностью проявил теперь желание принять в ней участие. Между тем гренадеры стояли на часах, с заряженными ружьями и начеку даже в самой спальне императрицы. Не следовало ли ожидать контрреволюции?

Лишь 28 ноября новый манифест рассеял недоумение публики. В нем, наконец, упоминалось о правах Елизаветы, основанных на завещании Екатерины I. После Петра II и за неимением детей от него, оно указывало, как на законных наследников, на цесаревну Анну Петровну, старшую сестру Елизаветы с ее потомством, и затем на Елизавету с ее потомством. Но разве Анна Петровна,

скончавшаяся в 1728 г., не оставила после себя детей? Ведь существовал сын от ее брака с герцогом Голштинским. Не следовало ли ему царствовать? Нет; воспитываясь в Киле в протестантской религии, он подпадал под заключительный пункт завещания, устранявший от престола наследников не православного вероисповедания. Вызвав его впоследствии в Петербург и назначив его своим преемником, Елизавета прежде всего перевела его в лоно православной церкви. Но, сделав это, не следовало ли ей тотчас же уступить ему место? Один историк утверждает, что она о том подумывала, приготовив себе даже убежище в Воскресенском монастыре, будто бы выстроенном ею с этой целью на берегах Невы. Оставляю на нем ответственность за это утверждение.

В манифесте было объявлено, что принц Иоанн и его семья отправлены обратно в Германию с соответственными их званию почестями. Дочь Петра Великого, по-видимому, действительно имела намерение это сделать. Сообщу ниже, каким влияниям она уступила, отказавшись от него, обременив тем захват власти излишним проявлением насилия и жестокости и добавив к темным главам истории своей страны одну из самых ее горестных страниц.

II. Брауншвейгская фамилия

Это семейство, происшедшее от брака одной из внучек старшего брата Петр Великого, Иоанна V, с принцем Брауншвейгским, состояло в ту минуту из низверженного императора, его младшей сестры Екатерины и их отца и матери, принца Антона-Ульриха Брауншвейгского и принцессы Анны Леопольдовны Мекленбургской, бывшей правительницы. Первоначальные намерения Елизаветы относительно их были милостивы. Изгнанники должны были получить 30.000 рублей на путешествие и 50.000 руб. ежегодной пенсии. Василий Федорович Салтыков, которому поручено было сопровождать их, получил приказание ехать не останавливаясь и объезжая большие города. Увы! моим читателям уже известны случайности подобных путешествий в России; постоянные перемены и отмены данных распоряжений на пути к изгнанию, усугубляли горечь и ужас его. На первой же станции курьер догнал Салтыкова и передал ему приказание не спешить и останавливаться по несколько дней в каждом городе вплоть до Риги. Елизавета уже пожалела о первом своем порыве и хотела дать себе время на размышление. В Риге последовал опять сюрприз: приказание оставаться на месте впредь до новых распоряжений.

Существовала некоторая связь между этими переменами и этапами другого путешествия – того, что совершал в то же время в обратном направлении будущий наследник престола, «Голштинский чортушка», как называла его Анна Иоанновна. Елизавета опасалась, пожалуй, что немецкая родня изгнанной семьи задержит по пути этого второго узурпатора, и она оставила на всякий случай заложников. Этот расчет, если он и существовал, осложнялся еще и другими соображениями. Бывшего императора и его родителей не только задержали в Риге, но и заточили в тюрьму. Вскоре мысль об отправке их на родину была вовсе оставлена.

По существующим предположениям, хирург и наперсник Елизаветы, Лесток, был отчасти виновен в этом событии. Но мы находим следы и других советов, данных Елизавете в этих щекотливых обстоятельствах и стремившихся доказать ей, что, выпуская из рук сверженного императора, она не будет твердо сидеть на престоле. В особенности Фридрих II прилагал все старания, чтобы убедить ее в этом. Сам женатый на принцессе Брауншвейгской, что он не забывал подчеркивать в предыдущее царствование, хотя ненавидел свою жену и ее семью, он тем не менее с большим рвением силился устранить от себя всякое подозрение в симпатиях к молодому принцу, приходившемуся ему племянником. Салтыков, сам по себе хороший человек, имел в числе своих подчиненных лиц, желавших подслужиться. Они стремились усилить тревогу императрицы. Так, она узнала, что Анна Леопольдовна дурно обращалась с начальником своего конвоя, что прислуга будто бы спрашивала маленького принца: «Кому, батюшка, голову отсечешь?» А ребенок отвечал: «Василию Федоровичу».

Салтыков тщетно отрицал это. «Маленький принц почти ничего не говорит», утверждал он. Елизавета ему не верила. В течение всего своего царствования ее преследовал призрак сверженного соперника. Австрия, Швеция, даже Пруссия, казалось ей, вступались за него. Позднее, согласно некоторым данным, она даже подумывала о браке с грозным призраком, с тем, чтобы избавиться от этого наваждения. Но в это время, оставляя несчастную семью в Риге, она советовалась со всеми, даже с Бироном, возвращенным ею из ссылки, причем она поселила его в Ярославле, запретив ему приезд в столицу и ко двору, как поступить с принцами Брауншвейгскими. Может быть, регент и внушил ей ее окончательное решение. 13 декабря 1742 г. вся семья была перевезена в большой тайне в Дюнамюнде, затем в январе 1744 г. в Ораниенбург, ныне Раненбург, Рязанской губернии. В этот промежуток времени Брауншвейгская фамилия увеличилась еще одним членом, принцессой Елизаветой, родившейся в тюрьме и прожившей в ней сорок лет. Ссыльных по ошибке чуть было не свезли в Оренбург. В то время д'Аллион, французский

поверенный в Петербурге, писал в Версаль следующие подробности:

«У этих высоких узников отняли всех иностранных слуг, за исключением г. Геймбурга, двух камердинеров, фрейлины Юлии (Менгден) и ее сестры. Первая, по-прежнему любимый идол принцессы Анны, уносит с собою верное доказательство того, что пламя любви может зажечься среди самых великих несчастий. Адонисом был гвардейский сержант».

В июле 1744 г. новая перемена, вызванная мнимым заговором, с которым в предшествовавшем году было связано имя маркиза Ботта, посланника Марии-Терезии. Фридрих тотчас же поспешил отстранить от себя всякое подозрение в сообщничестве, посоветовав Елизавете сослать гораздо дальше беспокойного племянника. Императрица восемь месяцев раздумывала над этим. Как мы увидим ниже, она не скоро принимала свои решения. Но данный совет даром не пропал. В июле майор Миллер получил приказание перевезти из Ораниенбурга в Архангельск и затем в Соловецкий монастырь четырехлетнего мальчика, которого ему передали под именем Григория.

То был бывший император.

Анна Леопольдовна была вновь беременна. Ее разлучили с мужем, как она думала, навсегда. Отняли у нее и Юлию Менгден, что являлось для нее, несомненно, худшим несчастьем. Изгнанники не знали, куда их везут. Лишь на берегу Белого моря все члены семьи вновь встретились вместе. Но настала зима и состояние льдов не позволило добраться до Соловков, так что пришлось ждать весны в Холмогорах. Камергер Николай Корф, заменивший теперь Салтыкова, посоветовал оставить там узников, и предложение его было принято.

В ста двенадцати верстах от своего устья Двина образует несколько островов. На одном из них стоят Холмогоры. Город этот состоял в то время приблизительно из ста пятидесяти домов, растянувшихся на протяжении двух верст вдоль единственной и извилистой улицы; внешний вид его немногим изменился с тех пор. Он считался, однако, одним из самых древних и известных городов в России, сыграв большую роль в истории Северо-Восточного края. До восшествия на престол московских царей он представлял собой очень значительный административный и коммерческий пункт, впоследствии его затмил Архангельск. Но еще при Петре Великом его собор Спаса Преображения, выстроенный из каменных плит в византийском стиле, считался красивейшим в Империи. В трех верстах от города лежит село, официально носящее название

Денисовки, но прозванное крестьянами Болотом – месторождение великого Ломоносова.

Отыскивая тюрьму, где бы можно было поселить новых гостей, Корф нашел лишь дом архиерея; этому последнему пришлось искать себе убежища в другом месте. Высокий деревянный частокол, охраняемый солдатами, совершенно отрезал от мира Анну Леопольдовну и ее товарищей по несчастью. Жители Холмогор не знали ни имени, ни звания узников. На содержание их губернатору выдавалось 10–15 тысяч рублей; но никому не приходило в голову спрашивать у него отчета в них, и случалось, что принц Антон, имевший привычку пить кофе по три раза в день, был лишен его целыми месяцами.

Юлию Менгден заменила по причинам, оставшимся неизвестными, ее сестра Бина (Якобина), явившаяся только лишней мукой для тех, чье заточение она должна была разделить и смягчить. Это была ужасная особа! Ее ссоры с караульными офицерами и солдатами, бурные сцены с принцем Антоном, беззастенчивый роман с домашним доктором, Ножевщиковым, и постоянные скандалы доставляли неисчерпаемый материал для рапортов, отправлявшихся в Петербург. Наконец ее заперли в отдельную камеру; но она била солдат, приносивших ей есть, и выливала им на голову суп.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

В ней не было ни кусочка монашеского тела.

Купить: https://tellnovel.com/ru/valishevskiy_kazimir/doch-petra-velikogo

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить